



А. К. Зинда



АРКАДИЙ ГАЙДАР



собрание
сочинений
в четырех
томах



МОСКВА • 1980

АРКАДИЙ ГАЙДАР



том
второй



«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Редакционная коллегия

*А. Л. БАРТО, Н. В. БОГДАНОВ, А. А. ВИНОГРАДОВ,
Т. А. ГАЙДАР Т. А. КУЦЕНКО*

*Составление, подготовка текста
и комментарии*

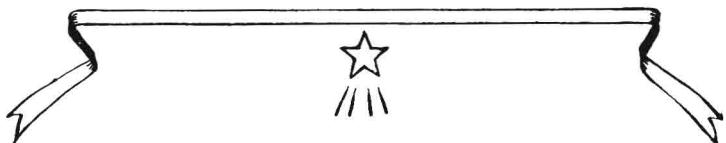
БОРИСА КАМОВА

Оформление Е. АНДРЕЕВОЙ

Рисунки А. ВЕРКАУ

70803—518
Г М101(03)80 Подп. изд.

© Состав. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980 г



АВТОБИОГРАФИЯ

(1937 г.)

В августе 1914 года, когда мне стукнуло десять лет, отца взяли в солдаты и послали на германский фронт.

Забегал он из казармы прощаться. Бритая голова, серая папаха, тяжелые, кованые железом, сапоги.

Не узнала его наша рыжая собачонка Каштанка, зарычала, залаяла. Самая младшая сестренка, Катюшка, так до конца и не поняла, в чем дело. Всё тарасила глаза, за шинель трогала, за погоны тянула и смеялась:

— Солдат папа! Папа солдат!

Когда пришла минута прощанья — все заплакали. Поняла Катюшка, что дело не до смеха, и подняла такой рев, как будто бы ее кипятком ошпарили.

Я крепился.

За окном трещали барабаны, гремела военная музыка, и с маршевой ротой ушел на вокзал мой отец.

Помню — вечерело. Крепко пахло на вокзале нефтью, карболкой и антоновскими яблоками, которых уродилась в тот год неисчислимая сила.

И как раз помню, когда уже отошел поезд, остановился я на мостике через овраг.

Удивительным цветом горело в тот вечер небо.

Меж стремительных, но тяжело-угрюмых туч над горизонтом блистали величаво-багровые зарева. И казалось, что где-то там, куда скрылся эшелон, за деревней Морозовкой, загоралась иная жизнь. Уже отцеловались, отплакались, звякнули, загудели, тронулись и поехали. «Прощайте, солдаты, прощайте!» Уезжали под плач, с громом, свистом и с песнями. С чем-то назад вернетесь?

И они вернулись назад через четыре года.

Те, кто не были искалечены, отравлены, засыпаны землей и убиты на полях Галиции, на Карпатах, под Трапезундом и под Ригой, — те вернулись назад на помощь рабочим Москвы и Петрограда, которые уже бились на баррикадах за лучшую долю, за счастье, за братство народов, за советскую власть.

Мне было всего четырнадцать лет, когда я ушел в Красную Армию. Но я был высокий, широкоплечий и, конечно, соврал, что мне уже шестнадцать.

Я был на фронтах: петлюровском, польском, кавказском, внутреннем, на антоновщине и, наконец, близ границы Монголии. Что я видел, где мы наступали, где отступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное, что я запомнил, — это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира.

Под Киевом, возле Боярки, умирал и бредил мой друг, курсант Яша Оксюз. Уже розоватая пена дымилась на его запекшихся губах, и он говорил уже что-то не совсем складное и для других непонятное.

«Если бы, — бормотал он, — на заре переменить позицию. Да краем по Днепру, да прямо за Волгу. А там письмо бросьте. Бомбы бросайте осторожнее! И никогда, никогда... Вот и все! Нет... не все. Нет — все, товарищи!»

И что бы он там ни бормотал, лежа меж истоптанных огуречных и морковных грядок, мотал головой, щептал, хмурил брови, я знал и понимал, что он хочет и торопится сказать, — чтобы били мы белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти, проверяли на заре полевые караулы, что Петлюра убежит с Днепра^{*1}, что Колчака прогнали уже

¹ Объяснение слов, отмеченных звездочкой, см. в комментариях в конце книги.

за Волгу*, что наш часовой не вовремя бросил бомбу, и от этого нехорошо так сегодня получилось, что письмо к жене-девчонке у него лежит, да я и сам его вижу — торчит из кармана потертого защитного френча. И в том письме, конечно, все те же ей слова: прощай, мол, помни! Но нет силы, которая сломала бы советскую власть ни сегодня, ни завтра. И это все.

Кто знает под Киевом, где-то возле Боярки, деревеньку Кожуховку? Какие-то, интересно, там сейчас и как называются колхозы? «Заря революции», «Октябрь», «Пламя», «Вперед», «Победа» или просто какой-нибудь тихий и скромный «Рассвет», — вот там и схоронили мы Яшу. А потом хоронили еще и десять, и двадцать, и сто, и тысячу. Но Советская власть жила, живет, и никто с ней, товарищи, ничего не сделает.

В Красной Армии я пробыл шесть лет. Пятнадцати лет я окончил Киевские командные курсы и тут же, в августе 1919 года, был назначен командиром шестой роты второго полка бригады курсантов.

Потом я был командиром батальона, командиром сводного отряда, командиром 23-го полка в Воронеже и, наконец, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом.

Я был тогда очень молод, командовал, конечно, не как Чапаев. И то у меня не так, и это не эдак. Иной раз, бывало, закрутишься, посмотришь в окошко и подумаешь: а хорошо бы отстегнуть саблю, сдать маузер и пойти с ребятишками играть в лапту!

Частенько я оступался, срывался, бывало даже своевольничал, и тогда меня жестоко за это свои же обрывали и одергивали, но все это пошло мне только на пользу.

Я любил Красную Армию и думал остаться в ней на всю жизнь. Но в 23-м году из-за старой контузии в правую половину головы я вдруг крепко заболел*. Все что-то шумело в висках, гудело, и губы неприятно дергались. Долго меня лечили, и наконец в апреле 1924 года, как раз когда мне исполнилось двадцать лет, я был зачислен по должности командира полка — в запас*.

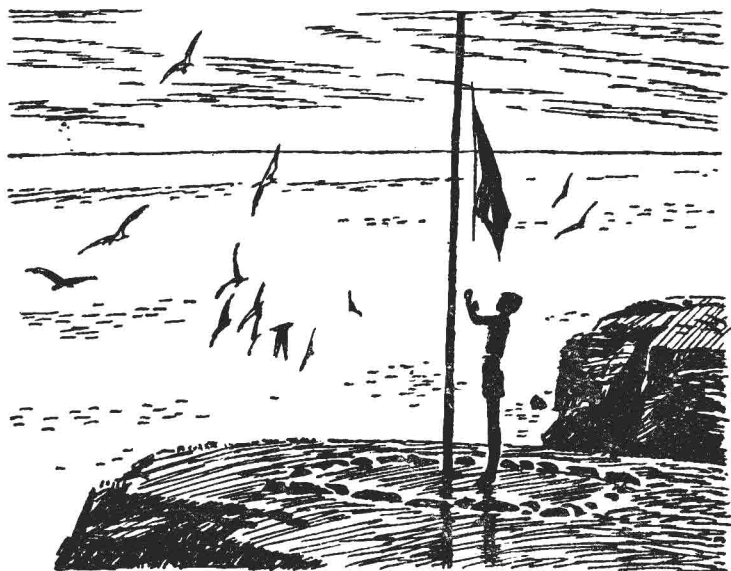
С тех пор я стал писать. Вероятно, потому, что в армии я был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам — какая она была, жизнь? Как оно все начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало.

Какие книги я написал — вы знаете. Если выкинуть первые, совсем еще слабые, то останутся: «Р.В.С.», «Школа», «Дальние страны», «Четвертый блиндаж», «Военная тайна» и «Голубая чашка».

Сейчас я заканчиваю повесть «Судьба барабанщика». Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных — не меньше, чем сама война.

1937 г.

Арк. Зайда



ВОЕННАЯ ТАЙНА

Из-за какой-то беды поезд два часа простоял на полустанке и пришел в Москву только в три с половиной. Это огорчило Натку Шегалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в пять, и у нее не оставалось времени, чтобы зайти к дяде.

Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника — Шегалова.

— Дядя,— крикнула опечаленная Натка,— я в Москве!.. Ну да: я, Натка. Дядя, поезд уходит в пять, и мне очень, очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть.

В ответ, очевидно, Натку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали

ей что-то такое, отчего она сразу обрадовалась и заулыбалась.

Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Натка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугой походный мешок.

Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рявкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу.

— И что за горячка? — выбранил он Натку. — Ну, поехала бы завтра. А то «дядя», «жалко»... «поезд в пять часов»...

— Дядя, — виновато и весело заговорила Натка, — хорошо тебе — «завтра». А я и так на трое суток опоздала. То в горькоме сказали: «завтра», то вдруг мать попросила: «завтра». А тут еще поезд на два часа... Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Буденный, да еще какие-то начальники. А я нигде, ни на чем, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. А ты — «завтра» да «завтра»...

— Ой, Натка! — почти испуганно ответил Шегалов, сбитый ее бестолковым, шумным натиском. — Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа!

— А ты постарел, дядя, — продолжала Натка. — Я тебя еще знаешь каким помню? В черной папахе. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры: грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лег спать, а я и еще одна девчонка — Верка — потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидала нас да хворостиной. Мы — реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери: «Отчего это, Даша, девчонки режут?» — «Да они, проклятые, твою саблю вытащили. Того гляди, сломают». А ты засмеялся: «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы ее такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят». Ты помнишь это, дядя?

— Нет, не помню, Натка, — улыбнулся Шегалов. — Давно это было. Еще в девятнадцатом. Я тогда из-под Бессарабии приезжал.

Машина медленно продвигалась по Мясницкой*. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи. Но все это нравилось Натке —

и людской поток, и пыльные желтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путанными дорогами к каким-то далеким и неизвестным ей окраинам: к Дангауэровке, к Дорогомилровке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и еще и еще куда-то.

И, когда, свернув с тесной Мясницкой к Земляному валу, шофер увеличил скорость так, что машина с легким, упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Натка сдернула синий платок, чтобы ветер сильнее бил в лицо и трепал, как хочет, черные волосы.

В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по которым спешили люди на дачные поезда.

Здесь Шегалов заказал два обеда, бутылку пива и мороженое.

— Дядя,— задумчиво сказала Натка,— три года тому назад я говорила тебе, что хочу быть летчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу,— учись, говорят, в совпартшколе,— а теперь послали на пионерработу: иди, говорят, и работай.

Натка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шегалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос.

Но Шегалов выпил стакан пива, вытер ладонью жесткие усы и ждал, что скажет она дальше.

— И послали на пионерработу,— упрямо повторила Натка.— Летчики летят своими путями. Пароходы плывут своими морями. Верка — это та самая, с которой мы вытащили твою саблю,— через два года будет инженером. А я сижу на пионерработе и не знаю — почему.

— Ты не любишь свою работу? — осторожно спросил Шегалов.— Не любишь или не справляешься?

— Не люблю,— созналась Натка.— Я и сама, дядя, знаю, что нужная и важная... Все это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своем месте. Не понимаешь? Ну вот, например: когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебе и сказали: не трогайте, Шегалов,

винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматике и арифметике. Ты бы что?

— Из меня грамматик плохой бы тогда вышел,— насторожившись, отшутился Шегалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал: — А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целые три месяца, в самую горячку, считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили. И вперед наши давно уже провалились. И назад наших давно уже шарахнули. А я все хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?

Шегалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил:

— Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селедка. Два эшелона полудохлой скотины — и те сберег, выкормил, выправил. Приехали с фронта из шестнадцатой армии приемщики. Глядят — скотина ровная, гладкая. «Господи,— говорят,— да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отошальные». Помню, один беспокойный комиссар так и норовит, так и норовит со мною поцеловаться.

Тут Шегалов остановился и серьезно посмотрел на Натку.

— Целоваться я, конечно, не стал: характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да... Ну вот. О чем это я? Так ты не робей, Натка, тогда все, как надо, будет.— И, глядя мимо рассерженной Натки, Шегалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром.

Натка недоверчиво глянула на Шегалова. Что он: не понял или нарочно?

— Как не справляюсь? — с негодованием спросила она.— Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал. Вот кто!

И, покрасневшая, уязвленная, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю первое место. И что за это она получила вот

эту самую путевку на отдых в лучший пионерский лагерь, в Крым.

— Эх, Натка! — пристыдил ее Шегалов. — Тебе бы радоваться, а ты... И посмотрю я на тебя... ну, до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа!.. Тоже была летчик! — с грустной улыбкой закончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок и рупоры громко закричали о том, что на севастопольский № 2 посадка.

Через тоннель они вышли на платформу.

— Поедешь назад — телеграфируй, — говорил ей на прощание Шегалов. — Будет время — приеду встречать, нет — так кого-нибудь пришлю. Погостишь два-три дня. Посмотришь Шурку. Ты ее теперь не узнаешь. Ну, до свиданья!

Он любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии.

Утром Натка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий иностранец и читал газету; двое военных играли в шахматы.

Натка попросила себе вареных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним.

«Ну да... все старое: «Расстрел рабочей демонстрации в Австрии», «Забастовка марсельских докеров». — Она перевернула страничку и прищурилась. — И вот это... Это тоже уже прошлое». Перед ней лежала фотография, обведенная черной траурной каемкой: это была румынская, вернее, молдавская еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присужденная к пяти годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишиневской тюрьмы.

Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрепанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза.

Вот такой, вероятно, и стояла она; так, вероятно, и глядела она, когда привели ее для первого допроса к блестящим жандармским офицерам или следователям беспощадной сигуранцы.

...Марица Маргулис.

Натка закрыла журнал и положила его на прежнее место.

Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжелые облака. Натка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи.

Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжелые запылившиеся окна.

Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли еще двое: высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестилетний белокурый мальчуган, но с глазами темными и веселыми.

— Сюда,— сказал мальчуган, указывая на свободный столик.

Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.

— Папа...— попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко.

— Хорошо, но потом,— ответил отец.

— Ладно, потом,— согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой.

Человек достал папиросу.

— Алька,— попросил он,— я забыл спички. Пойди принеси.

— Где? — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.

— В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане в пальто.

— То в кармане в пальто,— повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона.

Человек в сером френче открыл газету, а Натка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно.

Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор. Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоем.

— Ты зачем приходил? Я бы и сам принес,— спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.

— Я это знаю,— ответил отец.— Но я вспомнил, что позабыл другую газету.

Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Натка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Натка заметила, что мальчуган, спрашивая о чем-то отца, указывает рукой в ее сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой.

Мальчуган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся.

— Это моя книжка,— сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал.

— Почему твоя? — спросила Натка.

— Потому что это я забыл. Ну, утром забыл,— объяснил он, подозревая, что Натка не хочет отдать ему книжку.

— Что же, возьми, если твоя,— ответила Натка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови.— Тебя как зовут?

— Алька,— отчетливо произнес он и, схватив журнал, убежал к своему месту.

Еще раз Натка увидела их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алька смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалеких гор.

Поезд умчался дальше на Севастополь, а Натка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем незнакомого ей моря.

В синих шароварах и майке, с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Натка Шегалова к пляжу. Когда она вышла на платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, веселые, запыленные и усталые. Они держали наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом.

— Здорово, ребята! Откуда? — спросила Натка, поравнявшись с этой шумной ватагой.

— Ленинградцы!.. Мурманцы!.. — охотно закричали ей в ответ.

— Машиной,— спросила Натка,— или с парохода?

— С парохода, с парохода! — точно обрадовавшись хорошему слову, дружно загалдели только что приплывшие ребята.